
Жанна Попова

ЛАКУНЫ В МЕМОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ: ПАМЯТЬ О ДЕПОРТАЦИЯХ ИЗ ЛИТВЫ В 1940-Е ГГ.

В статье предлагается обзор подходов к исследованию памяти о депортациях с западных территорий СССР в 1940-е гг. Рассматриваются причины слабой артикулированности памяти о них в современной России. В первую очередь, дается короткая история принудительных перемещений населения в Советском союзе и уточняются особенности функционирования памяти о них. Статья сосредоточена на устных свидетельствах бывших депортированных. Будут рассмотрены истории жизни пятнадцати человек, на момент депортации живших в Литве. Пять бесед – это свидетельства женщин, остальные принадлежат мужчинам. Самому молодому интервьюируемому на момент депортации было три года, старшие пережили ее, будучи двадцатилетними. Анализ интервью с депортированными показывает многообразие их опыта и ограниченность подхода к изучению государственного насилия сквозь призму документов, произведенных самим государством. Далее кратко показываются различные уровни памяти об этих депортациях и способы политического использования прошлого. Наконец, предлагаются возможные теоретические подходы к изучению этой памяти.

Ключевые слова: спецпоселения, историческая память, принудительные миграции, СССР, память о депортациях

В статье рассматривается сюжет, находящийся на периферии дискуссий о политике памяти. Сосредотачиваясь на памяти о депортациях из Литвы 1940-х гг., статья обращается к наименее явным проявлениям мемориальной политики и показывает, почему коллективная память о депортациях не могла сформироваться.

Жанна Попова – PhD-исследователь Международного института социальной истории, Амстердам, Нидерланды. Электронная почта: zhanna.popova@iisg.nl

Открытие государственных архивов спровоцировало рост числа работ по советской истории, в том числе о ГУЛАГе. Однако к исследованию «специальных поселений» историки обратились недавно (Viola 2009). Благодаря архивным исследованиям Николая Земскова (Земсков 1990), Виктора Бердинских (Бердинских 2005) и Николая Бугая (Бугай 1995) стали известны количественные данные, а работа Павла Поляна (Полян 2001) дает представление о масштабе, хронологии и географии политики принудительных перемещений населения в Советском Союзе. Впрочем, исследователи по-прежнему редко изучают региональные особенности депортаций и различия в опыте депортированных из разных групп. Книги Сергея Красильникова и его коллег о крестьянской ссылке в Западную Сибирь (Красильников 2009; Красильников и др. 2010) – один из примеров того, насколько продуктивным может быть региональный подход. Однако большинство исследователей, как правило, сосредотачиваются на анализе законодательных актов и инструкций, а также на механизме принятия решений, оформивших систему «спецпоселений», чем на опыте самих депортированных и на расхождениях между локальными практиками организации и инструкциями из центра. С одной стороны, этот подход привел к публикации большого количества сборников документов, детально освещающих развитие этой системы (Царевская-Дякина 2004; Бугай 1992; Красильников и др. 1992, 1993, 1994, 1996). С другой стороны, у исследований государственного насилия, опирающихся в основном на источники, произведенные разными уровнями государственной власти, есть очевидные недостатки: склонность сосредотачиваться на однородности и статичности системы, игнорирование опыта депортированных, пренебрежение социальными последствиями депортаций.

Другая проблема историографии в том, что зачастую историки рассматривают депортации – насильственное перемещение – отдельно от жизни в «спецпоселениях». Биографический подход и обращение к устной истории восстанавливают связь между этими двумя явлениями и их роль в жизни людей (Blum et al. 2012). Здесь я использую сходный подход и рассматриваю одновременно память о депортации и о тех местах, где эти люди оказались после. Такой подход позволяет понять, каково сегодня состояние исторической памяти о принудительных перемещениях населения в Советском Союзе и чем оно вызвано.

Депортации в СССР: контекст

В постсоветское время память о депортациях не только в Литве, но и в других балтийских странах заняла одно из центральных мест в создании национальных исторических нарративов и стала ресурсом строительства независимости. Изучающие этот процесс авторы указывают, что вопрос памяти об этих депортациях в России остается малоизученным, в то время как в Литве эта тема активно изучается, однако,

в силу политической обстановки, исследования нередко конъюнктурны (Davoliute, Balkelis 2012).

Воспоминания депортированных показывают, насколько разным мог оказаться их опыт в зависимости от времени высылки и пункта назначения, возраста, навыков и образования депортированных, и как этот опыт повлиял на их дальнейшую жизнь. Я обращаюсь к историям людей, высланных из Литвы в 1940–1949 гг. В рамках проекта «Европейская память о ГУЛАГе» (Звуковые архивы 2014) под руководством историков Алена Блюма и Марты Кравери и журналистки Валери Нивелон было собрано более 170 свидетельств депортированных из западных областей Советского Союза. Многие из них остались в местах ссылки, и поэтому интервью проводились не только в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, но также и в России, в основном восточных её областях, и в Казахстане. Истории депортированных из Литвы были выбраны потому, что в корпусе бесед нашлось достаточное количество интервью по-русски (хотя для всех информантов русский – не родной язык). Здесь будут рассмотрены истории жизни пятнадцати человек, на момент депортации живших в Литве. Пять бесед – это свидетельства женщин, остальные принадлежат мужчинам. Самому молодому интервьюируемому на момент депортации было три года, старшие пережили ее, будучи двадцатилетними. В момент проведения бесед свидетелям было от 66 до 82 лет. Восемь из них остались в России, преимущественно в Иркутской области, где в 2010 г. с ними были проведены интервью. Остальные жили на момент интервью (летом 2009 г.) в Литве, Каунасе и Вильнюсе. Интервью велись по следующей схеме: сначала респондентов приглашали рассказать историю жизни настолько подробно, насколько они считали нужным. Интервьюеры могли задавать уточняющие вопросы по ходу рассказа, но вопросы, подразумевающие подробный ответ, задавались после. Длина интервью варьируется, как и соотношение между первой и второй частями: в некоторых случаях интервьюируемые, говоря о своей жизни, чувствовали себя настолько некомфортно, что только вопросы интервьюеров помогали им выстроить рассказ.

Николя Верт различает четыре разновидности массовых политических репрессий, существовавших в Советском Союзе в сталинский период: рукотворный голод, казни, депортации и принуждение к труду в лагерях и колониях ГУЛАГа (Werth 2010). Нередко сразу несколько из них применялось к членам одной семьи: например, глава семьи был отправлен в лагерь, а другие ее члены – сосланы на «спецпоселение». Высылка в отдаленные места страны была постоянной характеристикой российской пенитенциарной практики на протяжении последних веков. Она может быть, как в случае ссылки или массового принудительного переселения, наказанием сама по себе, или усугублением наказания, назначенного судом (тюремного заключения). Ссылка широко применялась и в Российской Империи, однако, массовые административные ссылки, которые я также называю «депортациями», – это большевистское нововведение. Первые массовые депортации

были проведены уже в 1921 г. и направлены против казаков (Царевская-Дякина 2004). В советское время объектом депортаций могли быть и отдельные люди, сосланные согласно приговору суда или по внесудебному решению, и социальные группы (например, те, кого советское правительство классифицировало как «кулаков»), и целые народы. С января 1930 г., с началом «раскулачивания», депортациям подвергалось все больше людей. Репрессивная система, впрочем, не была задумана и создана одномоментно. В первые годы массовые ссылки повлекли тысячи жертв: людей нередко депортировали в холодное время года в неподготовленные для этого места, без еды, крова и медикаментов (Werth 2007). Некоторым депортированным, впрочем, это предоставило возможность побега: в начале тридцатых бежали до трети «спецпоселенцев» (Красильников 2009).

С началом Второй мировой войны и аннексией Прибалтики депортации стали одним из инструментов «советизации» региона (Denis 2008). Репрессивная система вбирала в себя всё больше различных категорий депортированных с новых территорий: первые операции были направлены против интеллектуальных и предпринимательских элит, затем против «кулаков» и «пособников бандитов», то есть крестьян, подозревавшихся в оказании помощи вооруженным отрядам националистов. Так как эти отряды действовали в основном в сельской местности, советская власть стремилась лишить их доступа к ресурсам крестьян. Целью этих крестьянских депортаций, таким образом, было не только ускорение коллективизации новоприобретенных территорий, но и усиление контроля над ними.

По сравнению с депортациями крестьян, которые были частью кампании «раскулачивания» с 1930 г., к началу 1940-х операции стали более последовательны, и демонстрировали чрезвычайный уровень мобилизации персонала НКВД-МГБ: например, в операции «Прибой» 25–28 марта 1949 г. было задействовано 76 212 единиц персонала, которые в течение трех дней арестовали и депортировали более 90 000 человек (Strods, Kott 2002). Внезапность и масштаб этих депортаций оставляли всё меньше возможностей их избежать. Как уточняет Николай Бугай, в общей сложности

за период с 1940 по 1953 г. среди лиц, оказавшихся на спецпоселении в северных и восточных районах страны без права возвращения к прежним местам жительства, по данным справки, подготовленной замначальником 2-го управления МВД СССР Кардашовым 16 декабря 1965 года, из Литовской ССР было 118 599 чел., Латвийской ССР – 52 411, Эстонской ССР – 32 450 (Бугай 1995: 232).

Особенность литовского контекста заключается в том, что вооруженное сопротивление советской оккупации – движение «лесных братьев» – было особенно яростным по сравнению с другими балтийскими странами, а репрессивные действия советских властей массовыми. Один из интервьюированных говорит об этом так: «В сорок пятом году, когда кончилась война в Европе, у нас в Литве война продолжалась ещё целых десять лет» (Антанас Сейкалис,

1933 г.р., депортирован в 1950 г. после ареста, вернулся в Литву в 1955 г., беседа проводилась Мартой Кравери и Аленом Блюмом 24.06.2009 в Вильнюсе).

Память о депортации и «спецпоселениях» в рассказах бывших депортированных

«Спецпоселения» – это особая форма трудового лагеря: свобода перемещения оказавшихся в них была ограничена, и их обязывали работать. Вооруженной охраны и других традиционных атрибутов лагерей – заборов и колючей проволоки – не было, но за присутствием «спецпоселенцев» на месте высылки следил комендант: раз в неделю, а позже раз в месяц, они обязаны были засвидетельствовать своё присутствие в комендатуре. Учитывая ограничения, которые налагались на профессиональную и учебную жизнь «спецпоселенцев», следует определять их положение как особый административный режим. Несмотря на отсутствие прямой физической угрозы в случае побега, депортированные свидетельствуют о том, что побеги были очень редки. Их затрудняло, например, то, что депортировались семьи с детьми и пожилыми людьми, но зачастую без взрослых мужчин, а потеря взрослого члена семьи ставила под угрозу жизнь тех, кто от него зависел. Как свидетельствуют интервьюированные, из «спецпоселений» бежали в основном подростки. Абрам Лещ сообщает, что это могло помочь оставшимся в депортации членам семьи:

И в 48 году приехал один мужчина забрать одну девочку. Там ему платил кто-то чего-то, и он приехал с Литвы забрать её, такую же, как и мы, высленную, переселенку такую. И мама упросила, чтоб и меня забрали, ей тогда легче было бы с двумя сестрами. Она сразу договорилась и переехала в районный центр, когда меня не было, а потом переехала в Сыктывкар, и там она была билетершей в кинотеатре (1932 г.р., депортирован в 1941 году в ходе массовой операции, вернулся в Литву в 1948 г., беседа проводилась Мартой Кравери, Аленом Блюмом и Юргитой Мачюлите 24.06.2009 в Вильнюсе).

Незнание языка тоже делало задачу преодоления нескольких тысяч километров для возвращения домой практически невыполнимой.

Как правило, бывшие депортированные подробно описывают, кто забирал их в Сибирь: как выглядели эти люди, на каких языках они говорили, как они были одеты, однако, не имеют представления ни об именах, ни о должностях карателей.

В: А кто за вами пришел? Солдаты, милиция, кто это были?

О: Нет, какой-то гражданский человек, и с ним женщина ходила <...>.

В: А свои, литовцы, были, или русские?

О: Свои, свои... Ну, они по-литовски разговаривали, в гражданском одеты, а кто они, что, черт его знает. Мы не знаем. Вот только когда нас

везли, в машинах погрузили, прислали солдат, и наготове держат ружье – вот пошевелились только маленько, и сразу! В каждой машине солдат был, в каждой, каждой (Анелия Милейне, 1929 г.р., депортирована в 1949 г. в ходе массовой операции, осталась в Сибири, беседа проводилась Эмилией Кустовой, Аленом Блюмом и Ларисой Салаховой 31.01.2010 в селе Никилей).

Свидетели, как правило, подробно описывают с процесс депортации (или же детально воспроизводят рассказы о ней своих родителей), и их воспоминания о погрузке в поезд, устройстве вагона и долгом пути в Сибирь очень схожи. Впрочем, они также говорят о полной неопределенности в эти моменты: люди могли только строить предположения о том, куда их везут и зачем, а также лишь догадываться – далеко не всегда верно – о причинах депортации:

Если дали взять продукты, дали инструмент, значит, повезут на работу – тем более, что мой дед практику имел с 1914 по 20-й год, он видел, как в России, уже большевистской России, что там происходило (Антанас Кибартас, 1943 г.р., депортирован в 1947 г., вернулся в Литву в 1958 г., беседа проводилась 28.10.2009 Юргитой Мачюлите).

То, что большинство свидетелей на момент депортации были детьми или подростками, придает их рассказам особую тональность: помимо лейтмотива непрозрачности происходящего присутствуют и упоминания приобретения новых знаний – обучения новым навыкам от местных жителей, изучение языка. Многие из них, и в том числе критично настроенные по отношению к советской власти, настаивают на «нормальности» своего детства и с удовольствием рассказывают о жизни в отдаленных сибирских деревнях и красивой природе. Кроме того, они описывают процесс своей интеграции в советское общество:

А если смотреть глазами ребенка, вот этого, который учился в семилетней школе, кончал ее там, играл, дрался, лето проходило, то всё это было очень светло, лес примерно такой же, как и Варенский район у нас в Литве, сосны, березы, где-то осина. Мы все свободное время, дети, не смотря на то, кто там молдаванин, русский, литовец, все мы говорили на русском языке. Мы даже, дети, разговаривали на русском языке даже на своей квартире, если между нами был хоть один русский ребенок, потому что местные русские чувствовали себя очень некомфортно, если кто-то говорил по-литовски из ребятишек (Антанас Кибартас, 1943 г.р., депортирован в 1947 г., вернулся в Литву в 1958 г.).

Вырастая, дети сталкивались с тем, что они находятся под особым административным режимом. Непосредственные последствия статуса «спецпоселенца» даже после формального освобождения – это ограничение свободы перемещений, выбора места и специальности для обучения в университете и запрет работы по специальности. Однако существует

и пласт ещё более долговременных – и менее очевидных – последствий этой политики. Они связаны с неспособностью говорить о своем прошлом: один из интервьюированных отвечал на вопросы односложно и не мог понять, зачем исследователи могут интересоваться его жизнью, а другая призналась, что на протяжении десятилетий не рассказывала о депортации даже своим детям и внукам. Кроме того, рассказывая о своем опыте депортации, интервьюированные сосредотачиваются на личной истории, редко связывая историю своей семьи с государственной политикой стран, в которых им довелось жить.

Память о депортации и идентичность

Индивидуальная память о депортации связана с двумя биографическими моментами: возрастом, в котором интервьюированные были депортированы, и тем, вернулись ли они в Литву. Младшие склонны быть менее критичными по отношению к советской политике, чем старшие. Пережив депортацию детьми, они чаще воспроизводят официальный советский дискурс и в целом меньше осмысливают свой опыт (и, кроме того, среди младших большее число осталось в Сибири). Из старших же трое были арестованы отдельно, а не депортированы в ходе массовых операций. Они склонны к более критичной оценке опыта жизни в Сибири и, как правило, с большей тщательностью вписывают историю своей жизни и историю семьи в широкий исторический нарратив. Юлиана Зархи говорит об этом так: *«История моей семьи довольно необычная, но отражает более или менее историю тех стран, в которых жила моя семья»* (1938 г.р., депортирована в 1945 г., вернулась в Литву в 1953 г., беседа проводилась Мартой Кравери и Юргитой Мачюлите 25.06.2009 в Вильнюсе).

В отличие от большинства интервьюированных, она на протяжении всей жизни очень активно делилась свидетельствами о депортации, выступая в школах и музеях. Кроме того, она единственная рассказала, как сказался опыт депортации на её самоощущении:

Потому что я не говорю «мы», я говорю «они». «Они» – немцы, «они» – евреи, да. Когда вот так о ком-то говорю. Литовцы, да. Русские. А я? С кем я? Когда я говорю «мы» – то это с депортированными. «Мы» – это депортированные, вот с ними я могу себя [ассоциировать]. Нехорошее это, конечно, но как-то всегда жертва. Но я не думаю, что я от этого страдаю, я где-то даже богаче, во мне много всего.

Антанас Сейкалис, депортированный после ареста, а не в рамках массовой операции, был одним из тех интервьюированных, кто в своем рассказе говорил не только о собственном опыте, но и давал политические оценки происходившему. Например, он классифицировал советское, а позже немецкое вторжение в Литву как «оккупацию». Он был одним из участников борьбы за независимость Литвы:

У них [представителей советской власти] было всё: армия, большие деньги, пропаганда. У них в руках была очень большая сила. Ну конечно, против такой силы бороться можно было только тогда, когда есть помощь со стороны. Но нам никто не помогал, абсолютно никто. Мы думали, что после войны Тегеранская конференция, Потсдамская конференция что-то решит. Но, поскольку мы сейчас знаем, не только мы, но и половина Европы была продана уже во время пакта Молотова-Риббентропа. Но всё-таки, несмотря на это, борьба продолжалась долго-долго (1933 г.р., депортирован в 1950 г., вернулся в Литву в 1955 г.).

Антанас Сейкалис рассказывает о депортации как о части борьбы за независимость Литвы, и продолжает, в отличие от многих из тех, кто после депортации остался в Сибири, ассоциировать себя с литовским народом. Кроме того, в этой цитате видно, что он провел определенную работу над своими воспоминаниями, переформулировав их согласно изученному после возвращения из депортации. В его словах борьба за независимость Литвы и принудительные переселения в Сибирь – важная часть нарратива о национальном строительстве Литвы.

В особенности для оставшихся в Сибири, депортация не стала основополагающим моментом для строительства особой идентичности, о которой говорит Юлиана Зархи. Как правило, те, кто провел большую часть жизни в месте депортации, говорят о себе в первую очередь как о советских гражданах – и воспроизводят официальный советский взгляд на депортации, почти полностью их игнорировавший, в лучшем случае сводившийся к реабилитации и восстановлению в правах, но не увековечиванию памяти. Вернувшиеся в Литву чаще ориентируются на пост-советский дискурс о депортациях, последовательно формулирующийся в Литве (и других балтийских странах) на протяжении последних двадцати пяти лет. Кроме того, они подчеркивают травматичность этого опыта не только для них самих, но и для всей страны, говоря о том, например, что во время депортаций *«был частично уничтожен генофонд, самые молодые люди уже не родили потомства. <...> Литва потеряла очень много способных людей»* (Антанас Сейкалис).

Истории депортированных, как и истории других людей, переживших принудительные перемещения, долгое время оставались на периферии интереса историков. Как отмечает Питер Гатрелл, этих людей «с трудом можно определить в традиционных категориях социальной истории» (Gatrell 2005: 558). Память о депортациях в Советском Союзе лишь начинает становиться предметом исследования, и я предлагаю ниже несколько возможных объяснений того, почему она столь слабо артикулирована. Иными словами, почему в этом случае опыт людей остается исключительно личным?

Специфика памяти о принудительных переселениях в России

В России социальная стигма продолжает довлеть над депортированными несмотря на то, что породившие её институты перестали существовать

двадцать пять лет назад. То, что память о массовых депортациях сегодня замалчивается, вызвано не последовательной государственной политикой, но её отсутствием: сохранению и воспроизводству памяти о депортациях несомненно помогло бы создание музеев или центров памяти – иными словами, мест, где память о них могла бы стать коллективной, формировалась как общепринятый социальный факт, а не предмет конфликта.

Сегодня в России память о депортациях с западных границ СССР – сугубо региональный вопрос, и свидетельства бывших «спецпоселенцев», собранные в рамках различных, в основном сибирских, проектов, остаются доступными лишь местным историкам и узкому сообществу самих депортированных. Непроговоренные воспоминания, отсутствие общественной рефлексии травматичного опыта, как и отсутствие оформленной государственной позиции по отношению к этим депортациям показывают слабую «проработку прошлого» российским государством и обществом. Я предлагаю ниже ряд факторов, приведших к подобному положению дел.

Во-первых, «спецпоселения» были лишь одной из многих институциональных форм, сочетавших ограничение свободы передвижения и принудительный труд. В СССР существовал континуум таких институтов, необязательно связанных с пенитенциарной системой. Как отмечает Марсель ван дер Линден (Linden 1997), 1930-е гг. характеризовались последовательным усилением принуждения в сфере труда – в первую очередь, для крестьян в колхозах. С началом Второй мировой войны и ужесточением трудового законодательства, как отмечает Шейла Фитцпатрик (Fitzpatrick 1989), то же происходит и с рабочими. Если оставить в стороне региональные различия и произвол комендантов, в целом жизнь в «спецпоселениях» – в отличие от жизни в лагере – не подразумевала прямого насильственного принуждения к труду и физической угрозы в случае побега. Можно предположить, что это промежуточное положение «спецпоселенцев» в системе государственного насилия отчасти привело к тому, что, с одной стороны, их изучением пренебрегали профессиональные историки, а с другой – память о них не вызывает столь большого внимания общества, как память о лагерях.

Кроме того, взгляд профессиональных историков традиционно сосредоточен на неподвижных, сравнительно устойчивых объектах. Ник Бэрн и Питер Гатрелл (Baron, Gatrell 2003), обозначая теоретические рамки анализа истории принудительных перемещений населения в двадцатом веке, подчеркивают, насколько ограничен этот взгляд, и предлагают в качестве инструмента анализа «*itinerant perspective*» – то есть «перспективу странника», сосредоточение на точке зрения самих перемещенных людей, а не государственных институтов.

Во-вторых, опыт депортированных, оставшихся в Сибири, стирается и растворяется в многообразии опыта людей, пострадавших от различных репрессий. Играют свою роль и социальная стигма, и потеря национальной идентичности, и политика советского государства, стремившегося разделить

«спецпоселенцев» из разных поколений. Как пишет Олег Хлевнюк (Khlevniuk 2004: 20), эта практика впервые была применена ещё в начале 1930-х гг., и хотя изначально молодежь пользовалась незначительными привилегиями – например, могла участвовать в трудовом (но не «социалистическом») соревновании, это номинальное выделение группы молодых «спецпоселенцев» ознаменовало начало процесса «растворения» опыта ссыльных. В 1940-е гг. эта политика по-прежнему влияла на жизнь части депортированных: по достижении 16 лет они могли получить право переехать учиться в другой город (хотя выбор специальности для них был очень ограничен).

Увековечивание памяти о депортациях в художественной литературе особенно слабо по сравнению с многообразием свидетельств, созданных узниками лагерей – в первую очередь речь идёт о книгах Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Александра Солженицына. Это связано с тем, что депортированные в массе своей были крестьянами, не всегда достаточно грамотными и не рассматривавшими текст как ресурс. Кроме того – и это уже более общее свойство, – это люди, не имевшие опыта защиты своих прав, пользуясь термином Альберта Хиршмана, лишённые «голоса» (Hirschman 1970) и не привыкшие публично высказывать и защищать свою позицию.

Стирание памяти о насильственных миграциях и «спецпоселениях» связано и с трудностями её материализации. Важность материального и ритуального увековечивания одним из первых отметил Пьер Нора (Nora 1997). Здесь следует упомянуть два основных аспекта. С одной стороны, федеральные власти равнодушны к созданию мемориалов спецпереселенцам (Полян 2010). С другой, насильственные миграции пространственно эфемерны. Депортации – это радикальный опыт принудительного перемещения, потери корней. К тому же, сами «спецпоселения» нередко были временными поселками, переставшими существовать после закрытия лесозаготовительного или иного производства или возвращения на родину бывших депортированных. Иными словами, увековечивание памяти о депортациях – это в некоторой степени и техническая проблема, по крайней мере, в том, что касается создания памятных мест.

Наконец, память о депортациях – это травматичная память; антропологи описывают совместно пережитый травматичный опыт как возможную основу для новых социальных связей. В частности, Сергей Ушакин в книге «Патриотизм отчаяния» (Oushakine 2009) говорит о сообществах, образовавшихся вокруг различных постсоветских травм: распада Советского Союза, Афганской и Чеченских войн, драматического перехода к рынку. В воспоминаниях депортированных упоминаются такого рода сообщества, и не в России, а в Литве.

Нэнси Адлер в книге «Сохраняя верность партии» также описывает связывающий потенциал травмы, но в совсем ином ключе: обращаясь к аргументам психологии, она предполагает, что коммунисты, пережившие репрессии, но продолжавшие оставаться уверенными в правильности политики

КПСС, испытывали когнитивный диссонанс и пытались справиться с ним за счет различных стратегий, одной из которых было формирование «травматичной связи», своего рода «стокгольмского синдрома» (Adler 2012: 16–21).

Другой взгляд на коллективную память предлагает социолог Джеффри Александер, сформулировавший идею «культурной травмы», которую он определяет как «эмпирический, научный концепт, предлагающий новые значимые взаимоотношения и причинно-следственные связи между прежде несвязанными событиями, структурами, восприятиями и действиями» (Alexander 2004: 1). Он показывает, как можно применять эту идею в анализе Уотергейта (Alexander 2003: 155–178) и Холокоста (Alexander 2003: 27–84). Возможно, такой взгляд мог бы помочь анализу литовского контекста, однако, случай сталинских депортаций и памяти о них в России требует иных аналитических инструментов, которые могли бы прояснить обратную ситуацию: ситуацию отсутствия артикуляции коллективной памяти о массовом болезненном опыте, невозможности сбора цельного нарратива из множества личных историй людей, переживших принудительное переселение.

В этой статье я рассмотрела состояние исторической памяти о депортациях в СССР на примере жизненных историй депортированных из Литвы и показала, что эта память зачастую травматична. Кроме того, предложен анализ причин слабой артикулированности этой памяти. Наконец, сделан вывод о необходимости дальнейшего развития аналитического инструментария, который позволил бы работать с лакунами исторической политики и непроговоренными историями.

Список источников

- Бердинских В. *Спецпоселенцы: политическая ссылка народов Советской России*. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
- Бугай Н.Л. *Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...»*. М.: Аиро-XX, 1995.
- Бугай Н. (ред.) *Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Документы, факты, комментарии*. М.: Дружба народов, 1992.
- Звуковые архивы. Европейская память о Гулаге // <http://museum.gulagmemories.eu/> (дата обращения: 15.10.2014).
- Земсков Н. Спецпоселенцы (по документам НКВД-МВД СССР) // *Социологические исследования*. 1990. (11): 3–17.
- Красильников С., Кузнецова В., Осташко Т., Павлова Т., Пашенко Л., Суханова Р. *Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 – весна 1931 г.* Новосибирск: ВО Наука, 1992.
- Красильников С., Кузнецова В., Осташко Т., Павлова Т., Пашенко Л., Суханова Р. *Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 – начало 1933 г.* Новосибирск: Экор, 1993.
- Красильников С., Кузнецова В., Осташко Т., Павлова Т., Пашенко Л., Суханова Р. *Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933–1938*. Новосибирск: Экор, 1994.
- Красильников С., Нохотович Д., Осташко Т., Павлова Т., Пашенко Л., Пыстина Л., Сомонова С., Суханова Р. *Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939–1945*. Новосибирск: Экор, 1996.

- Красильников С. *Серп и Молот. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы*. М.: Росспэн, 2009.
- Красильников С., Саламатова М., Ушакова С. *Корни или щепки: крестьянская семья на спецпоселении в Западной Сибири в 1930-х – начале 1950-х гг.* М.: Росспэн, 2010.
- Полян П. *Не по своей воле... История и география принудительных миграций*. М.: Мемориал, Объединенное гуманитарное издательство, 2001.
- Полян П. Увековечение памяти о депортированных – дело рук самих депортированных. Заметки о мемориализации тотальных насильственных миграций // *Неприкосновенный запас*. 2010. 3. (71): 30–48.
- Царевская-Дякина Т. (ред.) *История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах / Т. 5. Спецпереселенцы в СССР*. М.: Росспэн, 2004.
- Adler N. *Keeping Faith with the Party: Communist Believers Return from the Gulag*. Bloomington: Indiana University Press, 2012.
- Alexander J. C. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkley: University of California Press, 2004.
- Alexander J. C. *The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Baron N., Gatrell P. Population Displacement, State-Building, and Social Identity in the Lands of the Former Russian Empire, 1917–1923 // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2003. 4. (1): 51–100.
- Blum A., Craveri M., Nivelon V. (eds.) *Déportés en URSS. Récits d'Européens au Goulag*. Paris: Autrement, 2012.
- Davoliute V., Balkelis T. *Maps of Memory: Trauma, Identity and Exile in Deportation Memoirs from the Baltic States*. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2012.
- Denis J. Identifier les «Éléments ennemis» en Lettonie: Une priorité dans le processus de resoviétisation (1942–1945) // *Cahiers du monde russe*. 2008. 49. (2–3): 297–318.
- Fitzpatrick S. War and Society in Soviet Context: Soviet Labour before, during, and after World War II // *International Labour and Working-Class History*. 1989. (35): 37–52.
- Gatrell P. Prisoners of War on the Eastern Front during World War I // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*. 2005. 6 (3): 557–566.
- Hirschman A. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.
- Khlevniuk O. *The History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror*. New Haven: Yale University Press, 2004.
- Linden M. v.d. Forced Labour and Non-Capitalist Industrialization: The Case of Stalinism (c.1929 – c.1956) // T. Brass, M. v.d. Linden (eds.) *Free and Unfree Labour: The Debates Continues*. Berne: Peter Lange Academic Publishers, 1997: 351–362.
- Nora P. (ed.) *Les Lieux de mémoire*. Paris: Gallimard, 1997.
- Oushakine S. *The patriotism of despair: nation, war, and loss in Russia*. Ithaca: Cornell University Press, 2009.
- Strods H., Kott M. The File on Operation 'Priboi': A Re-Assessment of the Mass Deportations of 1949 // *Journal of Baltic Studies*. 2002. 33 (1): 1–36.
- Viola L. *The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin's Special Settlements*. London: Oxford University Press, 2009.
- Werth N. *Cannibal Island: Death in a Siberian Gulag*. Princeton: Princeton University Press, 2007.
- Werth N. Retour sur la violence du stalinisme // *Le Débat*. 2010. 162 (5): 132–141.

Zhanna Popova

LACUNAE IN THE POLITICS OF MEMORY: REMEMBERING THE SOVIET DEPORTATIONS FROM LITHUANIA

This article is a primary exploration of memory about deportations from the Western borderlands of the Soviet Union, and particularly from Lithuania, in the 1940s. Its aim is to pinpoint the main issues and to give a general overview of questions for further research. In the first place, I analyze the specific traits of memory on deportation and offer a short overview of the history of forced displacement in the USSR. The central point of the article is an analysis of the stories told by former Lithuanian deportees. They were interviewed in the course of the project "European Memories of the Gulag" (<http://museum.gulagmemories.eu>) and provided valuable – if often contradictory – insights on ways of coping with and remembering the experience of being uprooted. Such testimonies provide a solid starting point for research on the memory of deportation that could challenge the homogenizing view of state-produced sources about forced displacement. In conclusion, possible theoretical approaches to the study of this memory are suggested.

Key words: special settlements, historical memory, forced migration in the Soviet Union, memory of deportations

References

- Adler N. (2012) *Keeping Faith with the Party: Communist Believers Return from the Gulag*, Bloomington: Indiana University Press.
- Alexander J. C. (2004) *Cultural Trauma and Collective Identity*, Berkley: University of California Press.
- Alexander J. C. (2003) *The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology*, New York: Oxford University Press.
- Baron N., Gatrell P. (2003) Population Displacement, State-Building, and Social Identity in the Lands of the Former Russian Empire, 1917–1923. *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 4 (1): 51–100.
- Berdinskikh V. (2005) *Spetsposelentsy: politicheskaya ssylka narodov Sovetskoy Rossii* [Special Settlers: The Political Exiles of the Peoples of Soviet Russia], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Blum A., Craveri M., Nivelon V. (eds.) (2012) *Déportés en URSS. Récits d'Européens au Goulag*, Paris: Autrement.
- Bugay N. L. (1995) *Beriya – I. Stalinu: "Soglasno Vashemu ukazaniyu..."* [L. Beria to J. Stalin: "According to your order..."], Moscow: Airo-XX.
- Bugay N. (ed.) (1992) *Iosif Stalin – Lavrentiyu Berii: "Ikh nado deportirovat"..."*: *Dokumenty, fakty, kommentarii* [Joseph Stalin to Lavrentii Beria: "They have to be deported"], Moscow: Druzhba narodov.
- Davoliute V., Balkelis T. (2012) *Maps of memory: trauma, identity and exile in deportation memoirs from the Baltic states*, Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore.
- Denis J. (2008) Identifier les "Éléments ennemis" en Lettonie: Une priorité dans le processus de resoviétisation (1942–1945). *Cahiers du monde russe*, 49 (2–3): 297–318.
- Fitzpatrick S. (1989) War and Society in Soviet Context: Soviet Labour before, during, and after World War II. *International Labour and Working-Class History*, (35): 37–52.

- Gatrell P. (2005) Prisoners of War on the Eastern Front during World War I. *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history*, 6 (3): 557–566.
- Hirschman A. (1970) *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Krasil'nikov S., Kuznetsova V., Ostashko T., Pavlova T., Pashchenko L., Sukhanova R. (eds.) (1992) *Spetspereselentsy v Zapadnoy Sibiri. 1930 – vesna 1931 g.* [Special Settlers in Western Siberia. 1930 – spring 1931], Novosibirsk: VO Nauka.
- Krasil'nikov S., Kuznetsova V., Ostashko T., Pavlova T., Pashchenko L., Sukhanova R. (eds.) (1993) *Spetspereselentsy v Zapadnoy Sibiri. Vesna 1931 – nachalo 1933 g.* [Special Settlers in Western Siberia. Spring 1931 – Beginning of 1933], Novosibirsk: Ekor.
- Krasil'nikov S., Kuznetsova V., Ostashko T., Pavlova T., Pashchenko L., Sukhanova R. (eds.) (1994) *Spetspereselentsy v Zapadnoy Sibiri. 1933–1938* [Special Settlers in Western Siberia. 1933–1938], Novosibirsk: Ekor.
- Krasil'nikov S., Nokhotovich D., Ostashko T., Pavlova T., Pashchenko L., Pystina L., Somonova S., Sukhanova R. (eds.) (1996) *Spetspereselentsy v Zapadnoy Sibiri. 1939–1945* [Special Settlers in Western Siberia. 1939–1945], Novosibirsk: Ekor.
- Krasil'nikov S. (2009) *Serp i Molokh. Krest'yanskaya ssylka v Zapadnoy Sibiri v 1930-e gody* [Sickle and Moloch: Peasant Exile in Western Siberia in the 1930s], Moscow: Rosspen.
- Krasil'nikov S., Salamatova M., Ushakova S. (2010) *Korni ili shchepki: krest'yanskaya sem'ya na spetsposelenii v Zapadnoy Sibiri v 1930-kh-nachale 1950-kh gg.* [Roots or Bits: Peasant Families under Special Settlement Regimes in Western Siberia in the 1930s to the beginning of the 1950s], Moscow: Rosspen.
- Khlevniuk O. (2004) *The History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror*, New Haven: Yale University Press.
- Linden M. v.d. (1997) Forced Labour and Non-Capitalist Industrialization: The Case of Stalinism (c.1929-c.1956). T. Brass, M. v.d. Linden (eds.) *Free and Unfree Labour: The Debates Continues*, Berne: Peter Lange Academic Publishers: 351–362.
- Nora P. (ed.) (1997) *Les Lieux de mémoire*. Paris: Gallimard.
- Oushakine S. (2009) *The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia*, Ithaca: Cornell University Press.
- Polyan P. (2001) *Ne po svoey vole... Istoriya i geografiya prinuditel'nykh migratsiy* [Against their Will: History and the Geography of Forced Migration], Moscow: Memorial, Ob'edinennoe gumanitarnoe izdatel'stvo.
- Polyan P. (2010) Uvekovechenie pamyati o deportirovannykh – delo ruk samikh deportirovannykh. Zametki o memorializatsii total'nykh nasil'stvennykh migratsiy [The Remembering of Those Subjected to Forced Migration Should Be Done by Themselves. An Approach to Memorialisation of Total Forced Migration]. *Neprikosnovenny zapas* [Untouchable Store], 3(71): 30–48.
- Strods H., Kott M. (2002) The File on Operation "Priboi": A Re-Assessment of the Mass Deportations of 1949. *Journal of Baltic Studies*, 33 (1): 1–36.
- Tsarevskaya-Dyakina T. (ed.) (2004) *Istoriya stalinskogo Gulaga. Konets 1920-kh – pervaya polovina 1950-kh godov: Sobranie dokumentov v 7-mi tomakh / T. 5. Spetspereselentsy v SSSR* [The History of Stalin's Gulag, end of the 1920s – first half of the 1950s: Collection of documents in seven volumes, volume 5], Moscow: Rosspen.
- Viola L. (2009) *The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin's Special Settlements*, London: Oxford University Press.
- Werth N. (2007) *Cannibal Island: Death in a Siberian Gulag*, Princeton: Princeton University Press.
- Werth N. (2010) Retour sur la violence du stalinisme. *Le Débat*, 162 (5): 132–141.
- Zemskov N. (1990) *Spetsposelentsy (po dokumentam NKVD-MVD SSSR)* [Special Settlers (According to the Documents of the NKVD-MVD of USSR)]. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Research], (11): 3–17.
- Zvukovye arkhivy. Evropeyskaya pamyat' o Gulage* [Sound Archive. European Memories on Gulag]. Available at: <http://museum.gulagmemories.eu/> (accessed 15 October 2014).